



Джон Голсуорси

Фриленды



Перевод с английского
Надежды Вольпин

ФТМ



Джон Голсуорси

Фриленды

«ФТМ»

1915

Голсуорси Д.

Фриленды / Д. Голсуорси — «ФТМ», 1915

Не возжелай мужа ближней своей. Заповеди такой нет, а чужих мужей желают многие... в поразительном по ироничному напору и силе образов романе Голсуорси место трагически умершей Фрэнсис Фриленд – супруги героя – занимает ее родная сестра, готовая взять на себя и заботу о муже и опеку над племянниками... но не так-то просто сделать это, если ты живешь с батраком и полностью зависишь от богача, на земле которого стоит твой дом, и благодаря которому ты зарабатываешь на пропитание. Богач может помешать не только matrimониальным планам, но едва не довести до самоубийства! Любовная интрига романа «Фриленды» разворачивается на фоне интриги гражданской, и Голсуорси создает многоплановое произведение, интересное как для читательниц английской мелодраматической прозы, так и для читателей острых историко-социальных романов об обществе Викторианской Англии.

© Голсуорси Д., 1915

© ФТМ, 1915

Содержание

Пролог	5
Глава I	7
Глава II	10
Глава III	12
Глава IV	17
Глава V	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Джон Голсуорси

Фриленды

Свобода – торжественный праздник.

Р. Бернс

Пролог

Как-то в начале апреля в Вустершире по единственной полосе земли, не поросшей травой, медленно двигался человек и сеял плавными взмахами сильной загорелой волосатой руки; роста он был высокого и широк в плечах. На нем не было ни куртки, ни шляпы; полы расстегнутой безрукавки, надетой поверх ситцевой рубахи в синюю клетку, хлопали по перетянутым поясом плисовым штанам, цветом своим напоминавшим его квадратное светло-коричневое лицо и пыльные волосы. Взгляд у него был грустный, рассеянный и в то же время напряженный, как у больных падучей, губы мясистые, и, если бы не тоскливое выражение глаз, лицо могло бы показаться грубым и чуть ли не животным. Его словно угнетала царящая вокруг тишина. На фоне белесого неба темнели окаймлявшие поле вяза с едва распустившейся листвой. Весна была ранняя, и легкий ветерок уже нес запахи земли и пробивающихся трав. На западе высились зеленые Молвернские холмы, а неподалеку, в тени деревьев, стоял длинный деревенский дом из выветрившегося кирпича, повернутый фасадом на юг. И во всем этом зеленом мире не было видно ничего живого, кроме сеятеля да нескольких грачей, перелетавших с вяза на вяз. А тишина стояла какая-то особенная, задумчивая, покойная. Поля и холмы будто посмеивались над жалкими стараниями человека их покалечить, над царапинами дорог, канав и поднятой плугом земли, над шаткими преградами стен и живой изгороди, – зеленые просторы и белое небо словно сговорились не замечать слабых людских усилий. Как одиноко было вокруг, как глубоко было все погружено в басовое звучание тишины, слишком величественное и нерушимое для любого смертного!

Шагая поперек изрезанного бороздами поля, сеятель все кидал свои зерна в бурый суглинок, но вот наконец он швырнул последнюю горсть семян и замер. Дрозды еще только запевали вечернюю песню, – ее радостные переливы надежнее всего на свете сулят вечную юность земле. Человек поднял куртку, накинул ее на плечи, повесил на спину плетеную сумку и зашагал к обсаженной вязами дороге, которая поросла по краям травой.

– Трайст! Боб Трайст!

У калитки обвитого зеленью дома, стоявшего в фруктовом саду высоко над дорогой, его окликнул черноволосый юноша с легким загаром на лице; рядом с ним была девушка с курчавыми каштановыми волосами и румяными, как маки, щеками.

– Вас предупредили о выселении?

Великан медленно ответил:

– Да, мистер Дирек. Если она не уедет, придется уходить мне.

– Какая подлость!

Крестьянин мотнул головой, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не выговорил.

– Пока подождите, Боб. Мы что-нибудь придумаем.

– Вечер добрый, мистер Дирек. Вечер добрый, мисс Шейла, – произнес крестьянин и пошел своей дорогой.

Юноша и девушка тоже ушли. Вместо них к калитке подошла черноволосая женщина в синем платье. Казалось, она тут стоит без всякой цели; быть может, это была особая вечерняя церемония, какой-то ритуал, вроде того, что выполняют мусульмане, слыша крик муэд-

зина. И если бы кто-нибудь ее увидел, то не понял бы, на что устремлен взор ее темных, горящих глаз, глядевших поверх белых, окаймленных травой пустынных дорог, которые тянулись между высоких вязов и зеленых полей. А дрозды заливались песней, призывая всех убедиться, какая юная, полная надежд жизнь расцветает в этом уголке сельской Англии.

Глава I

Майский день на Оксфорд-стрит. Феликс Фриленд, чуть-чуть опаздывая, спешит из Хемпстеда к своему брату Джону на Порчестер-гарденс. Феликс Фриленд – писатель и первым в этом сезоне надел серый цилиндр. Это – уступка, как и многое другое в его жизни и творчестве, компромисс между оригинальностью и общепринятым взглядом на жизнь, любовью к красоте и модой, скептицизмом и преклонением перед авторитетами. После семейного совета у Джона, где они должны обсудить поведение семьи их брата, Мортон Фриленда, более известного под прозвищем Тод, он, наверно, зайдет в Английскую Галерею поглядеть на карикатуры и нанесет визит одной герцогине в Мейфере, чтобы побеседовать с ней о памятнике Джорджу Ричарду. Вот поэтому-то он не надел ни мягкой фетровой шляпы, более подходящей к его писательской профессии, ни черного цилиндра, насмерть убивающего всякую индивидуальность, а прибег к этому серому головному убору с узкой черной ленточкой, который, по правде говоря, очень шел к его песочно-желтому лицу, песочным усам, уже тронутым седinouй, к черному, обшитому тесьмой сюртуку и темно-песочному жилету, к изящным штиблетам, – конечно, не лакированным! – слегка припудренным песочно-желтой пылью этого майского дня. Даже его серые, как у всех Фрилендов, глаза словно стали чуть-чуть песочными от сидячего образа жизни и излишней впечатлительности. Его угнетало, к примеру, то, что прохожие так отчаянно некрасивы, – и женщины и мужчины уродливы особым уродством не подозревающих этого людей. Его поражало, что при таком количестве уродов численность населения еще достигает подобного уровня! Благодаря его обостренному восприятию всякого несовершенства это казалось ему просто чудом. Нескладный, убогий народ – эта толпа, заполняющая магазины, эти рабочие! Какие беспросветно заурядные лица! Но как это изменить? Вот именно – как? Они ведь и не подозревают о своей угнетающей заурядности. Почти ни одного красивого или яркого лица, почти ни одного порочного, и уж вовсе ни одного озабоченного мыслью, страстью, злодейством или величием. Ничего от древних греков, ранних итальянцев, елизаветинцев или даже от пресыщенных мясом и пивом подданных королей Георгов. Во всех этих встречах была какая-то скованность, какая-то подавленность, что-то от чело-века, покоящегося в мягких кольцах удава, которые вот-вот начнут сжиматься. Это наблюдение доставило Феликсу Фриленду легкое удовольствие. Ведь его профессией было замечать, а потом увековечивать свои наблюдения на бумаге. Он был уверен, что немногие замечают подобные вещи, и это сильно поднимало его в собственных глазах и приятно согревало. Согревало еще и потому, что его постоянно превозносила пресса, которой – как он знал – приходилось печатать его имя не одну тысячу раз в год. Но в то же время, будучи человеком просвещенным и принципиальным, он презирал дешевую славу и теоретически признавал, что истинное величие – в презрении к мнению света, а особенно к мнению такого непостоянного ценителя, как «шестая держава». Но и в этом вопросе, как и в выборе головного убора, он шел на компромисс: собирал газетные вырезки, где говорилось о нем и о его книгах, хотя никогда не упускал случая назвать эти отзывы – хорошие, плохие и неопределенные – «писаниной», а их авторов – «субъектами».

Мысль, что страна переживает тяжелые времена, была для него не новой. Наоборот, это было глубочайшее его убеждение, и он мог привести в подтверждение веские доказательства. Во-первых, виной была та чудовищная власть, которую за последнее столетие приобрела в стране индустриализация, оторвавшая крестьян от земли, и, во-вторых, – влияние узколобой и коварной бюрократии, лишавшей народ всякой самостоятельности.

Вот почему, отправляясь на семейный совет к брату Джону, видному чиновнику, и к брату Стенли, индустриальному магнату и владельцу Мортоновского завода сельскохозяй-

ственных машин, он чувствовал себя выше их, ибо он, во всяком случае, не был виновен в том параличе, который грозил охватить страну.

И с каждой минутой все больше покрываясь желтоватым румянцем, он продолжал свой путь, миновал Мраморную Арку и оказался среди толпы в Хайд-парке. Кучки молодых людей, полных рыцарского благородства, осыпали градом насмешек расходившихся участниц суффражистского митинга. Феликс раздумывал, не противопоставить ли их силе свою силу, их сарказму свой сарказм, или, уняв свою совесть, пройти мимо, однако и тут победил инстинкт, вынуждавший его носить серый цилиндр, – он не сделал ни того, ни другого и просто стоял, молча и сердито поглядывая на толпу, которая сразу же стала отпускать по его адресу шуточки: «Ну-ка, сними его!», «Держи, чтобы не слетел!», «Ну и труба же» – правда, ничего более обидного. А он размышлял: культура! Разве культура может развиваться в обществе, где царят слепой догматизм, нищета интеллекта, дешевые сенсации? Лица этой молодежи, интонация, речь и даже фасон котелков отвечали: нет! Вульгарность их непроницаема для воздействия культуры. А ведь они будущее нации, вот эта невыносимо отвратительная молодежь! Страна поистине слишком далеко ушла от «земли». И ведь городской плебс состоит не только из тех классов, к которым принадлежат эти молодые люди. Он замечал его характерные черты даже у школьных и университетских друзей своего сына: отрицание какой бы то ни было дисциплины, равнодушие ко всему, кроме сильных ощущений и удовольствий, а в голове путаница случайно нахватанных знаний. Все их стремления были направлены на то, чтобы урвать лакомый кусок в чиновном или промышленном мире. Этим был заражен даже его сын Алан, несмотря на влияние семьи и художественную атмосферу, в которой его так старательно выращивали. Он хотел пойти работать на завод к дяде Стенли, надеясь получить там «теплое местечко»...

Но последний женоненавистник уже прошел мимо, и, сознавая, что он опаздывает, Феликс поспешил дальше...

Стоя перед камином в своем кабинете, довольно уютном, но слишком аккуратно прибранном, Джон Фриленд курил трубку, задумчиво уставившись в пространство. Он размышлял с той сосредоточенностью, которая характерна для человека, завоевавшего к пятидесяти годам высокое и устойчивое положение в министерстве внутренних дел. Начав свою карьеру в инженерных войсках, он на всю жизнь сохранил военную выправку, серьезность, пристальный взор и обвислые усы (чуть более седые, чем у Феликса). Лоб его полысел от прилежания и сноровки в обращении с деловыми бумагами. Лицо у него было более худое, а голова более узкая, чем у брата, и он научился смотреть на людей так, что они сразу же начинали в себе сомневаться и чувствовать слабость своих доводов. Сейчас, как было уже сказано, он размышлял. Утром он получил телеграмму от брата Стенли: «Сегодня приеду на автомобиле в Лондон по делам. Попроси Феликса быть к шести. Надо поговорить о положении в семье Тода». Какое положение? Он, правда, что-то мельком слышал о детях Тода и об их возне с тамошними батраками. Ему это было не по душе: уж очень в духе времени все эти беспорядки и демократические идейки! Заведут страну черт знает куда! Он считал, что страна переживает тяжелые времена отчасти из-за индустриализации с ее губительным влиянием на здоровье, отчасти из-за этой страсти современной интеллигенции все критиковать, страсти, столь губительной для нравственных устоев. Трудно переоценить вред, которым чреваты оба эти фактора. И, раздумывая о предстоящем совещании со своими братьями (один из них был главой промышленного предприятия, а другой – писателем, чьи книги, крайне современные, он никогда не читал), Джон Фриленд где-то в глубине души чувствовал, что его совесть, пожалуй, чище, чем у них обоих. Услышав, что у дома остановился автомобиль, он подошел к окну и посмотрел на улицу. Да, это Стенли!..

Стенли Фриленд, приехавший из Бекета, загородного дома, расположенного недалеко от его завода сельскохозяйственных машин в Вустершире, постоял минутку на тротуаре, разминая длинные ноги и давая распоряжения шоферу. Его дважды задержали во время пути, хотя они ни разу не превысили скорости – так он, во всяком случае, считал и был все еще рассержен. Ведь он принципиально всегда соблюдает умеренность – и в езде и во всем остальном. В эту минуту он особенно остро чувствовал, что страна переживает тяжелые времена, ее разъедают бюрократические порядки с их идиотскими ограничениями в скорости езды и в свободе граждан, а также все эти передовые идейки новоявленных писак и умников, вечно болтающих о правах и страданиях бедноты. Нет, и то и другое явно мешает прогрессу. Пока он стоял на тротуаре, его так и подмывало выложить Джону напрямик все, что он думает по поводу посягательств на свободу личности; да он не постесняется задать перцу и братцу Феликсу за все его возмутительные теории и постоянные насмешки над высшими классами, предпринимателями и всем прочим. Если бы он хотя бы мог что-нибудь этому противопоставить! Капитал и те, кто им владеет, – становой хребет нашей страны или, по крайней мере, того, что от нее оставили эти проклятые чинуши и эстеты! И, нахмутив прямые брови над прямым разрезом серых глаз, прямым, коротко обрубленным носом, еще короче обстриженными усами и тупым подбородком, он все же решил ничего не говорить, не желая давать воли даже собственному гневу.

Тут, заметив приближение Феликса – в белом цилиндре, черт побери! – он направился к дверям – высокий, широкоплечий, представительный – и позвонил.

Глава II

– Так что же происходит у Тода?

Феликс чуть-чуть подвинулся на стуле, с любопытством глядя на Стенли, который приготовился взять слово.

Дело, конечно, в его жене. Все было ничего, пока она только пописывала, разглагольствовала и занималась этим своим Земледельческим Обществом или как его там называли – на днях оно испустило дух, – но теперь она и эти двое ребят впутались в наши местные свары, и я считаю, что с Тодом надо поговорить!

– Муж не может заставить жену отказаться от ее убеждений, – заметил Феликс.

– Убеждений?! – воскликнул Джон.

– Кэрстин – женщина с сильным характером, революционерка по натуре. Разве можно ожидать, что она будет поступать так, как поступали бы вы?

После этих слов Феликса воцарилось молчание.

Потом Стенли проворчал:

– Бедняга Тод!

Феликс вздохнул, на миг погрузившись в воспоминания о своей последней встрече с младшим братом. Это было четыре года назад летним вечером. Тод стоял между своими детьми Диреком и Шейлой в дверях белого дома с черными балками, увитого плющом; его загорелое лицо и синие глаза дышали удивительным покоем.

– Какой же он «бедняга»? – спросил Феликс. – Тод гораздо счастливее нас с вами. Вы только на него посмотрите.

– Эх! – вдруг вздохнул Стенли. – Помните его на похоронах отца, как он стоял без шляпы и словно витал в облаках? Красивый малый наш Тод! Жаль, что он такое дитя природы.

Феликс негромко заметил:

– Если бы ты предложил ему стать твоим компаньоном, Стенли, из него вышел бы толк.

– Тод и завод сельскохозяйственных машин? Ого!

Феликс улыбнулся. При виде этой улыбки Стенли покраснел, а Джон снова набил трубку. Обидно, если твой брат больший насмешник, чем ты сам.

– А сколько лет его детям? – резко осведомился Джон.

– Шейле – двадцать, Диреку – девятнадцать.

– По-моему, мальчик учится в сельскохозяйственном институте?

– Уже кончил.

– А какой он?

– Черноволосый, горячий паренек. Ничуть не похож на Тода.

Джон проворчал.

– Это все ее кельтская кровь. Ее отец – старый полковник Морей – был такой же; настоящий шотландский горец. А в чем там у них дело?

Ему ответил Стенли:

– С этой пропагандой еще можно мириться, пока она не затрагивает соседей; тогда ее следует прекратить. Вы ведь знаете Маллорингов, они владеют всей землей по соседству с Тодом. Ну вот, наши напали на Маллорингов за какую-то якобы несправедливость к их арендаторам, что-то касающееся их нравственности. Подробностей я не знаю. Какому-то человеку отказали в аренде из-за сестры его покойной жены, а девушка с другой фермы что-то натворила. Словом, обычные деревенские происшествия. Надо объяснить Тоду, что его семья не должна ссориться со своими ближайшими соседями. Мы хорошо знакомы с Маллорингами, до них от нашего Бекета всего семь миль. Так не поступают; рано или поздно жизнь превращается в ад. А тут

атмосфера и так накалена всей этой пропагандой по поводу арендаторов-батраков, «земельного вопроса» и всего прочего, достаточно искры, чтобы начались настоящие беспорядки.

И, кончив эту речь, Стенли засунул руки поглубже в карманы и забренчал лежавшей там мелочью.

Джон коротко сказал:

– Феликс, тебе надо бы съездить туда.

Феликс откинулся на спинку стула и смотрел куда-то в сторону.

– Как странно, – сказал он, – что, имея такого на редкость своеобразного брата, как Тод, мы видимся с ним раз в кои веки.

– Именно потому, что уж очень он своеобразен...

Феликс встал и без улыбки протянул руку Стенли.

– А ведь ты прав. – Обернувшись к Джону, он добавил: – Хорошо, поеду и расскажу вам, что там творится.

Когда он ушел, старшие братья помолчали, а потом Стенли сказал:

– Наш Феликс мне немножко действует на нервы! Газеты курят ему такой фимиам, что у него совсем голова закружилась!

Джон ничего на это не возразил: как-то нехорошо возмущаться тем, что газеты хвалят твоего собственного брата. Но если бы тот сделал что-нибудь путное – открыл бы истоки Черной реки, завоевал Базутоленд, нашел средство против редкой болезни или стал епископом, – он бы первый с восторгом поздравил его; однако не может же он восторгаться тем, что делает Феликс, – этими его романчиками, критическими статьями, едкими, разрушительными сочинениями, якобы открывающими ему, Джону Фриленду, то, чего он не знал раньше, – как будто Феликс на это способен! Лучше бы писал по старинке, для души, так, чтобы можно было почитать на сон грядущий и спокойно заснуть после трудового дня! Нет! То, что Феликсу курят фимиам за его сочинения, обижало Джона до глубины души. В этом было что-то непристойное, возмущающее чувство приличия, здоровые инстинкты, наконец, традиции! И хотя он никому в этом не признавался, у него было тайное ощущение, что вся эта шумиха опасна для его собственных взглядов, которые для него, естественно, одни только и были верными.

Однако вслух он только спросил:

– Ты пообедаеть со мной, Стен?

Глава III

Если Феликс вызывал такое чувство у Джона, то сам он, когда бывал один, испытывал к себе то же чувство. Он так и не научился считать, что привлекать к себе внимание – вульгарно. Вместе со своими тремя братьями он был пропущен через жернова благородного воспитания и получил эту ни с чем не сравнимую шлифовку, которая возможна только в английской школе. Правда, Тод был публично исключен в конце третьего триместра за то, что влез на крышу к директору и заткнул два его дымохода футбольными трусиками, с которых забыл спороть свою метку. Феликс до сих пор помнил торжественную церемонию – пугающую, напряженную тишину и злоешие слова: «Фриленд-младший!»; бедняжку Тода, возникшего из темноты верхних рядов актового зала и медленно спускающегося по бесчисленным ступеням. Каким он был маленьким, розовощеким! Его золотистые волосы топорщились, а голубые глазенки пристально смотрели из-под нахмуренного лба. Величественная длань держала вымазанные сажей трусики, и торжественный глас пророкотал: «Это, видимо, ваше имущество, Фриленд-младший? Это вы столь любезно положили ваши вещи в мой дымоход?» И тоненький голосок пропищал в ответ: «Да, сэр».

– Могу я осведомиться, зачем вы это сделали, Фриленд-младший?

– Сам не знаю, сэр.

– Но были же у вас какие-то соображения, Фриленд-младший?

– У нас конец триместра, сэр.

– Ах, вот что! Вам не стоит больше сюда возвращаться, Фриленд-младший. Вы слишком опасны и для себя и для других. Ступайте на место.

И бедный маленький Тод отправился в обратный путь, карабкаясь по бесконечным ступеням; щеки его горели пуще прежнего, голубые глазенки сверкали еще ярче из-под еще тревожнее нахмуренного лба; маленький рот был твердо сжат, а сопел он так громко, что его было слышно за шесть скамей. Правда, новый директор школы был очень рассержен другими проделками, виновники которых не забывали спарывать свои метки, но все же ему не хватало чувства юмора, ах, до чего же ему не хватало чувства юмора! Будто Тод не доказал своим поступком, какой он превосходный мальчик! И по сей день Феликс с наслаждением вспоминал тихое шиканье, которое по его почину пошло по залу; его прервал окрик учителя, но оно вспыхивало то там, то сям, как беглые язычки пламени, когда пожар уже гаснет. Исключение из школы спасло Тода. А может, наоборот, его погубило? Что вернее? Один бог знает, – Феликс не мог этого решить. Сам пройдя пятнадцатилетнюю «шлифовку» своего образа мыслей, а потом потратив еще пятнадцать лет на то, чтобы ее преодолеть, он в конце концов начал думать, что в таком воспитании есть свой смысл. Философия, которая принимает все, в том числе и самое себя, как должное, и не допускает никаких сомнений, очень успокаивает издерганные нервы человека, вечно занятого анализом внутренней жизни как своей, так и других людей. Но Тод, которого после его исключения из школы, само собой разумеется, послали учиться в Германию, а потом заставили заниматься сельским хозяйством, так никогда и не подвергся «шлифовке» и не был вынужден стирать ее с себя; и все же он был самым умиротворенным человеком, какого можно себе представить.

Феликс вышел из метро в Хемпстеде и пошел домой; вечернее небо над ним было на редкость странным. Между соснами на вершине холма оно казалось тусклым, как розоватый опал, а вокруг – пронзительно-лиловым; на нем горели молодая зелень ветвей и белые звезды цветущих деревьев. Весна до сих пор тянулась уныло и прозаично; сегодня же к вечеру она вся превратилась в пламень и готовые бурно излиться потоки; Феликса поразило это насыщенное страстью небо.

Он едва дошел до дому, как небо разверзлось и оттуда хлынул ливень.

Старый дом позади Спаньярдс-роуд, если не считать мышей и легкого запаха трухлявого дерева в двух его комнатах, радовал своего хозяина. Феликс часто стоял у себя в прихожей, в кабинете, в спальне и в других комнатах, наслаждаясь изысканностью и простотой их атмосферы, восхищаясь редким изяществом и нарочитой небрежностью тканей, цветов, книг, мебели и фарфора. Но внезапно что-то в нем возмущалось: «Господи, неужели все это мое, ведь мой идеал – вода и хлеб, а в праздники кусочек сыру?» Правда, красота этой обстановки – не его вина, а дело рук Флоры, однако ему приходится жить среди этих вещей, с чем не так-то легко примириться истинному эпикурейцу. Хорошо еще, что дело ограничилось хотя бы этим, – если у Флоры и была страсть коллекционировать вещи, она не слишком давала себе волю, и хотя собранные ею вещи стоили немало денег, вид у них был такой, будто они достались по наследству, а кто же не знает, что нам, хочешь не хочешь, приходится терпеть «родовые реликвии», будь то титул или судок для приправ?

Собирать старинные вещи и писать стихи – это было ее призвание, и он бы не хотел для своей жены никакого другого. А ведь она могла бы, как жена Стенли – Клара, посвятить себя культу богатства и положения в обществе, или рано кончить свою жизнь, как жена Джона – Энн, или даже как жена Тода – Кэрстин – видеть свое призвание в бунтарстве. Нет, жена, у которой было двое, всего двое детей, вызывавших в ней любовное недоумение, которая никогда не выходила из себя, никогда не суетилась, умела оценить достоинства книги или спектакля, а в случае необходимости и постричь вас; жена, у которой никогда не потели ладони и еще не расплылась фигура, жена, которая писала довольно сносные стихи и, самое главное, не желала для себя лучшей участи – на такую жену нечего фыркать. И Феликс всегда это понимал. Он описал в своих книгах столько фыркающих мужей и жен, что умел ценить счастливый брак больше, чем любой другой англичанин. Не раз разбивая чужую семейную жизнь на всевозможных рифах и скалах, он тем больше почитал свою собственную, которая началась еще в молодости и, по всей видимости, кончится в глубокой старости; и была прожита рука об руку, скрепляемая нередко и поцелуями.

Повесив свой серый цилиндр, Феликс отправился искать жену. Он нашел ее в своей туалетной, окруженную маленькими бутылочками, которые она рассеянно осматривала, а потом одну за другой отправляла в «родовую» корзинку для бумаги. Не без удовольствия понаблюдав за ней несколько минут, он спросил:

– Ну как, дорогая?

Заметив его и продолжая свое занятие, она объяснила:

– Я решила, что пора за них взяться – это подарки милой мамы.

Они лежали перед ней – флакончики и склянки, наполненные бурой или светлой жидкостью, белым, голубым или коричневым порошком, зеленой, коричневой или желтой мазью; черные лепешки, рыжие пластыри; голубые, розовые и лиловые пилюли. Все они были аккуратно заткнуты пробками и снабжены аккуратными ярлычками.

И он сказал чуть-чуть дрогнувшим голосом:

– Дорогая мама! Ну до чего же она щедро все раздает! Неужели нам *ничего* из этого не пригодилось?

– Ничего. А их надо выбросить, пока они не испортились, не то еще примешь что-нибудь по ошибке.

– Бедная мама!

– Дорогой мой, она, несомненно, уже нашла какие-нибудь новые средства.

Феликс вздохнул.

– Вечная жажда перемен! Она есть и у меня.

И он мысленно увидел лицо матери, словно выточенное из слоновой кости, которое она одной силой воли уберегала от морщин; ее твердый подбородок, прямой и чуть длинный нос, правильный росчерк бровей; глаза, видевшие все так быстро и так разборчиво; крепко сжатые

губы, умевшие нежно улыбаться и принимать все, что посылает судьба, с трогательной решимостью; тонкие кружева – порою черные, порою белые – на ее седых волосах; руки, такие теперь худые и всегда подвижные, словно за все ее старания не оскорблять ничьих глаз зрелищем лица, изуродованного старостью, мстило беспокойство этих рук, которое она не могла унять; ее фигуру, низенькую, хотя она и казалась скорее высокой, всегда одетую в черное или серое; все еще быстрые движения и еще не утраченную живость. Перед ним сразу возник образ выскатальной, утонченной, беспокойной души, которая на земле звалась Фрэнсис Флиминг Фриленд, души, противоречиво сотканной из властности и смирения, терпимости и цинизма; точной и не способной ничего приукрашивать, как пески пустыни, щедрой до того, что вся ее семья приходила в отчаяние, и прежде всего мужественной.

Флора выбросила последний флакон и, усевшись на край ванны, чуть-чуть вздернула брови. Как выгодно отличает ее от других жен это умение смотреть на все объективно и с юмором!

– Это ты жаждешь перемен? В чем же?

– Мама непрерывно переезжает с места на место, переходит от одного человека к другому, от одного предмета к другому. Я постоянно перехожу от одного мотива к другому, от одной человеческой психики к другой; родной для меня воздух, как и для нее, – воздух пустыни, поэтому так бесплодно мое творчество.

Флора поднялась, но брови ее опустились на место.

– Твое творчество не бесплодно, – заявила она.

– Ты, дорогая моя, пристрастна. – И, заметив, что она собирается его поцеловать, он не почувствовал никакой досады, ибо эта женщина сорока двух лет, у которой было двое детей и три – книжки стихов (причем трудно сказать, что ей далось легче), с серовато-кариими глазами, волнистым изломом бровей, более темных, чем следовало бы, и красноватыми отблесками в волосах, с волнистыми линиями фигуры и губ, с необычной, слегка насмешливой лентой, необычной, слегка насмешливой сердечностью, была женой, какую только можно себе пожелать.

– Мне надо съездить повидаться с Тодом, – сказал он. – Мне нравится его жена, но у нее нет чувства юмора. Насколько убеждения лучше в теории, чем на практике!

Флора тихонько сказала, будто себе самой:

– Хорошо, что у меня их нет...

Она стояла у окна, опершись на подоконник, и Феликс встал рядом с ней. Воздух был напоен запахом влажной листвы, звенел от пения птиц, славивших небеса. Вдруг он почувствовал ее руку у себя на спине: не то рука, не то спина – ему трудно было сейчас сказать, что именно, – показалась ему удивительно мягкой...

Феликса и его молоденькую дочь Недду связывало чувство, в котором, если не считать материнской любви, больше всего постоянства, ибо оно основано на взаимном восхищении. Правда, Феликс никогда не мог понять, что в нем может нравиться сияющей наивностью Недде, – он ведь не знал, что она читает его книги и даже разбирает их в своем дневнике, который аккуратно ведет в те часы, когда ей положено спать. Поэтому он и не подозревал, какую пищу дают его изложенные на бумаге мысли для тех бесконечных вопросов, которые она задавала себе, для жажды узнать, почему это так, а это не так. Почему, например, у нее иногда так ноет сердце, а иногда на душе так весело и легко? Почему люди, которые говорят и пишут о боге, делают вид, будто точно знают, что он такое, а вот она не имеет об этом понятия? Почему люди должны страдать и жизнь безжалостна к неисчислимым миллионам человеческих существ? Почему нельзя любить больше, чем одного мужчину сразу? Почему... Тысячи «почему». Книги Феликса не отвечали на все эти вопросы, но они как-то успокаивали, ибо она нуждалась пока не столько в ответах, сколько во все новых и новых вопросах, как птенец, который все время разевает рот, не сознавая толком, что туда входит и оттуда выходит. Когда

они с отцом гуляли, сидели, беседуя, или ходили на концерты, разговоры их не бывали очень откровенными или многословными; они не открывали друг другу душу. Однако оба они твердо знали, что им вдвоем не скучно, а это не шутка! И то и дело держали друг друга за мизинец, отчего на душе у них становилось теплее. А вот со своим сыном Аланом Феликс постоянно чувствовал, что ему нельзя оплошать, а он непременно оплошает; ему чудилось, как в привычном кошмаре, что он пытается сдать экзамен, к которому ничего не выучил, короче говоря, что он обязан всеми силами вести себя достойно отца Алана Фриленда. Общество же Недды его освежало, он испытывал радость, как в майский день, когда смотришь в прозрачный ручей, на цветущий луг или на полет птиц. Но что чувствовала Недда, когда бывала с отцом? Она словно долго гладила что-то очень мягкое, отчего чуточку щекотало кончики пальцев, а когда читала его книги, то ей казалось, будто ее время от времени щекочут, нежно поглаживая, когда она этого меньше всего ожидает.

В этот вечер, после ужина, когда Алан куда-то ушел, а Флора задремала, Недда примостилась возле отца, поймала его мизинец и зашептала:

– Пойдем в сад, папочка, я надена галоши. Сегодня такая чудная луна!

Луна за соснами и в самом деле была бледно-золотистая; ее свечение, словно дождь золотой пыли, словно крылья мотыльков, едва касалось тростника в их маленьком темном пруду и цветущих кустов смородины. А молодые липы, еще не совсем одетые листвой, восторженно вздрагивали от этого лунного колдовства, роняя с нежным шелестом последние капли весеннего ливня. В саду чудилось присутствие божества, затаившего дыхание при виде того, как наливаются соками его собственная юность, как она зреет и, дрожа, тянется к совершенству. Где-то прерывисто чирикала птичка (наверно, решили они, дрозд, в чьей маленькой головке день спутался с ночью). Феликс с дочерью, держась за руки, шли по темным, мокрым дорожкам и больше молчали. У него, чуткого к природе, было гордое чувство, что об руку с ним идет сама весна, доверившая ему свои тайны в этот полный шелеста и шепота час. Да и в Недде бродила невыразимая юность этой ночи, недаром она была молчалива. Но вот, сами не зная почему, оба они замерли. Вокруг стояла тишина, лишь где-то далеко пролаяла собака, еле слышно шуршали дождевые капли да едва доносился гул миллионного голоса города. Как было тихо, покойно и свежо! Недда сказала:

– Папа, я так хочу все изведать!

Это великолепно самоуверенное желание не вызвало у Феликса улыбки, оно показалось ему бесконечно трогательным. Разве юность могла стремиться к чему-либо меньшему, стоя в самом сердце весны?.. И, глядя на ее лицо, поднятое к ночному небу, на полураскрытые губы и лунный луч, дрожавший на ее белой шее, он ответил:

– Все придет в свое время, моя радость!

Подумать, что и для нее наступит конец, как и для всех других, и она так и не успеет изведать почти ничего, открыв разве только себя да частицу бога в своей душе! Но ей он, конечно, не мог этого сказать.

– Я хочу *чувствовать*. Неужели еще не пора?

Сколько миллионов молодых существ во всем мире посылают к звездам эту молитву, которая кружит и несется ввысь, чтобы потом упасть на землю! Ему было нечего ответить.

– Еще успеешь, Недда.

– Но, папа, на свете столько всего, столько людей, причин, столько... жизни, а я ничего не знаю. И если что-нибудь и узнаешь, то, по-моему, только во сне.

– Ну что до этого, дитя мое, то я ничем! от тебя не отличаюсь. Как же помочь таким, как мы с тобой?

Она снова взяла его под руку.

– Не смейся надо мной!

– Избави бог! Я говорю серьезно. Ты узнаешь жизнь гораздо быстрее меня. Для тебя она – все еще народная песня; для меня – уже Штраус и тому подобная пресыщенная музыка. Вариации, которые разыгрываются у меня в мозгу... Да разве я не променял бы их на те мелодии, которые звучат в твоём сердце?..

– У меня не звучит ничего. Мне, видно, не из чего создавать эти мелодии. Возьми меня с собой к Тодам, папа!

– А почему бы и нет? Хотя...

В этой весенней ночи – Феликс это чувствовал – что-то крылось; оно лежало за этой тихой, лунной тьмой, затаив дух, полное настроенного ожидания; вот так и в невинной просьбе дочери ему почудилось что-то сулившее роковые перемены. Какая чепуха! И он ей сказал:

– Пожалуйста, если хочешь. Дядя Тод тебе понравится, остальные – не знаю, но твоя тетя для тебя будет чем-то совсем новым, а ты ведь, кажется, ищешь новизны.

Недда стиснула его руку молча, с жаром.

Глава IV

Бекет – загородная усадьба Стенли Фриленда – был почти образцовым имением. Дом стоял посреди парка и лугов, а до городка Треншем и Мортонского завода сельскохозяйственных машин было всего две мили. Когда-то тут находилось родовое гнездо Моретонов – предков его матери, – сожженное солдатами Кромвеля. Место, где некогда стоял этот дом, еще хранившее следы прежних строений, миссис Стенли приказала обнести стеной и увековечить каменным медальоном, на котором был выбит старинный герб Моретонов: симметрично расположенные стрелы и полумесяцы. Кроме того, там поселили и павлинов, благо они тоже были изображены на гербе, птицы пронзительно кричали, словно пылкие души, обреченные на слишком благополучную жизнь.

По капризу природы – а их у нее немало – Стенли, владевший родовыми землями Моретонов, был меньше всех братьев Фрилендов похож на своих предков по материнской линии и душой и телом. Вот почему он нажил больше денег, чем остальные трое, вместе взятые, и сумел при помощи Клары, с ее бесспорным даром завоевывать положение в обществе, вернуть роду Моретонов его законное место среди дворянства Вустершира. Грубоватый и лишенный всякой сентиментальности, сам он мало этим дорожил, но, будучи человеком незлым и практичным, только посмеивался в кулак, глядя на свою жену, урожденную Томсон. Стенли не был способен понять своеобразную прелесть Моретонов, которые, несмотря на узорность и наивность, обладали и своим благородством. Для него еще живые Моретоны были «никому не нужным сухостоем». Они действительно принадлежали к уже вымершей породе людей, ибо со времен Вильгельма Завоевателя были простыми помещиками, чей род не считывал ни одного сколько-нибудь выдающегося представителя, если не считать некоего королевского лекаря, который умер, не оставив потомства. Из поколения в поколение они женились на дочерях таких же помещиков и жили просто, благочестиво и патриархально. Они никогда не занимались коммерцией, никогда не богатели, оберегая свои традиции и достоинство куда более тщательно, чем так называемая аристократия. Отеческое отношение к людям зависимым было у них в крови, как и уверенность, что люди зависимые да и все «не-дворяне» сделаны из другого теста, поэтому они были лишены всякой надменности, и по сей день в них сохранилось что-то от глухой старины – от времен лучников, домашних настоек, сушеной лаванды и почтения к духовенству. Они часто употребляли слово «прилично», обладали правильными чертами лица и чуть-чуть пергаментной кожей. Естественно, что все они до одного – и мужчины и женщины – принадлежали к англиканской церкви, а благодаря врожденному отсутствию собственных взглядов и врожденному убеждению, что всякая другая политика «неприлична», были консерваторами; но при этом они были очень внимательны к другим, умели мужественно переносить свои несчастья и не страдали ни жадностью, ни расточительностью. Бекета в нынешнем его виде они отнюдь не одобрили бы.

Теперь уже никто не узнает, почему Эдмунд Моретон (дед матери Стенли) в середине XVIII века вдруг изменил принципам и идеалам своей семьи и принял «не вполне приличное» решение делать плуги и наживать деньги. Но дело обстояло именно так, доказательством чего служил завод сельскохозяйственных машин. Будучи, очевидно, человеком, наделенным отнюдь не «родовой» энергией и характером, Эдмунд выбросил из своей фамилии букву «е» и хотя во имя семейных традиций женился на девице Флиминг из Вустершира, по-отечески пекся о своих рабочих, назывался сквайром и воспитывал детей в духе старинных моретонских «приличий», но все же сумел сделать свои плуги знаменитыми, основать небольшой городок и умереть в возрасте шестидесяти шести лет все еще красивым и чисто выбритым мужчиной. Из его четырех сыновей только двое были настолько лишены родового «е», что продолжали делать плуги. Дед Стенли, Стюарт Мортон, старался изо всех сил, но в конце концов

поддался врожденному инстинкту жить, как подобает Моретону. Он был человеком чрезвычайно милым и любил путешествовать вместе со своей семьей; когда он умер во Франции, у него осталась дочь Фрэнсис (мать Стенли) и трое сыновей; один из них был помешан на лошадях, оказался в Новой Зеландии и погиб, упав с лошади; второй – военный, оказался в Индии и погиб там в объятиях удава; третий попал в объятия католической церкви.

Мортоновский завод сельскохозяйственных машин захирел и был в полном упадке, когда отец Стенли, желая позаботиться о будущем сына, поручил ему семейное предприятие, снабдив его необходимым капиталом. С тех пор дела завода пошли в гору, и теперь он приносил Стенли, своему единственному владельцу, годовой доход в пятнадцать тысяч фунтов. И эти деньги были ему нужны, ибо жена его Клара отличалась тем честолюбием, которое не раз обеспечивало его обладательницам видное положение в обществе, где на них сперва смотрели сверху вниз, – а попутно отнимало у земледелия много гектаров пахотной земли. Во всем Бекете не применялось ни единого плуга, даже мортоновского (впрочем, эти последние считались непригодными для английской земли и вывозились за границу). Успех Стенли зиждился на том, что он сразу понял цену болтовни о возрождении сельского хозяйства в Англии и усердно искал иностранные рынки. Вот почему столовая Бекета без особого труда вмещала целую толпу местных магнатов и лондонских знаменитостей, хором оплакивавших «положение с землей» и сетовавших, не умолкая, на жалкую участь английского земледельца. Если исключить нескольких писателей и художников, которыми старались разбавить однородную массу гостей, Бекет стал местом сбора борцов за земельную реформу, тут их по субботам и воскресеньям ждал радушный прием, а также приятные и интересные беседы о безусловной необходимости что-то предпринять и о кознях, замышляемых обеими политическими партиями против землевладельцев. Земли, лежавшие в самом сердце Англии и встарь благоговейно возделывавшиеся Моретонами, которым сочные травы и волнистые нивы давали простое, но совсем не скудное пропитание, – и не только им самим, но и многим вокруг, – теперь превратились в газоны, парк, охотничьи угодья, поле для игры в гольф и то количество травы, которое требовалось коровам, круглый год поставлявшим молоко для приглашенных и детей Клары, – все ее отпрыски были девочки, кроме младшего, Фрэнсиса, и еще не вышли из самого юного возраста. Не меньше двадцати слуг – садовники, егеря, скотники, шоферы, лакеи и конюхи – тоже кормились с тех полутора тысяч акров, из которых состояло небольшое поместье Бекет. Настоящих земледельцев, то бишь обиженных селян, о которых столько здесь говорили, якобы не желавших жить «на земле» (хотя для них с трудом находился кров, когда они изъявляли такое желание), к счастью, не было ни одного, и поэтому Стенли, чья жена настаивала на том, чтобы он выставил свою кандидатуру от их округа, и его гости (многие из них заседали в парламенте) могли придерживаться, живя в Бекете, вполне объективных взглядов на земельный вопрос.

К тому же места эти были очень красивые – просторные, светлые луга были окаймлены громадными вязами, травы и деревья дышали безмятежным покоем. Белый дом с темными бревнами, как принято строить в Вустершире (к нему время от времени что-нибудь пристраивалось), сохранил благодаря хорошему архитектору старомодную величавость и по-прежнему господствовал над своими цветниками и лужайками. На большом искусственном озере с бесчисленными заросшими тростником заливчиками, с водяными лилиями и лежащей на воде листвой, пронизанной солнцем, привольно жили в своем укромном мирке довольно ручные утки и робкие водяные курочки; когда весь Бекет отходил ко сну, они летали и плескались, и казалось, будто дух человеческий со всеми своими проделками и искрой божественного огня еще не возник на земле.

В тени бука, там, где подъездная аллея вливалась в круг перед домом, на складном стуле сидела старая дама. На ней было легкое платье из серого альпака, темные с проседью волосы закрывала черная кружевная наколка. На коленях у нее лежали номер журнала «Дом и очаг»

и маленькие ножницы, подвешенные на недорогой цепочке к поясу, – она собиралась вырезать для дорогого Феликса рецепт, как предохранить голову от перегрева в жару, но почему-то этого не сделала и сидела, совсем не двигаясь. Только время от времени сжимались тонкие бледные губы и беспрерывно шевелились тонкие бледные руки. Она, видимо, ждала чего-то, сулившего ей приятную неожиданность и даже удовольствие: на пергаментные щеки лег розовый лепесток румянца, а широко расставленные серые глаза под правильными и еще темными бровями, между которыми не было и намека на морщины, продолжали почти бессознательно замечать всякие мелочи, совсем как глаза араба или индейца продолжают видеть все, что творится кругом, даже когда мысли их обращены в будущее. Вот так Фрэнсис Флиминг Фриленд (урожденная Мортон) поджидала своего сына Феликса и внуков Алана и Недду.

Вскоре она заметила старика, который брел, прихрамывая и опираясь на палочку, туда, где аллея выходила на открытое место, и сразу же подумала: «Зачем он сюда идет? Наверно, не знает дороги к черному ходу. Бедняга, он совсем хромой. Но вид у него приличный».

Она встала и пошла к нему; его лицо с аккуратными седыми усами было на редкость правильным, почти как у джентльмена; он дотронулся до запыленной шляпы со старомодной учтивостью. Улыбаясь – улыбка у нее была добрая, но чуть-чуть неодобрительная, – она сказала:

– Вам лучше всего вернуться вон на ту дорожку и пройти мимо парников. Вы ушибли ногу?

– Нога у меня, сударыня, повреждена вот уже скоро пятнадцать лет.

– Как же это случилось?

– Задел плугом. Прямо по кости, а теперь, говорят, мышцы вроде как высохли.

– А чем вы ее лечите? Самое лучшее средство – вот это.

Из глубин своего кармана, пришитого там, где никто карманов не носит, она вытащила баночку.

– Позвольте я вам ее дам. Намажьте перед сном и хорошенько вотрите! Увидите, это прекрасно помогает.

Старик, поколебавшись, почтительно взял баночку.

– Хорошо, сударыня. Спасибо, сударыня.

– Как вас зовут?

– Гонт.

– А где вы живете?

– Возле Джойфилдса, сударыня.

– А-а, Джойфилдс! Там живет другой мой сын, мистер Мортон Фриленд. Но туда семь миль!

– Полдороги меня подвезли.

– У вас тут есть какое-нибудь дело?

Старик молчал. Унылое, несколько скептическое выражение его морщинистого лица стало еще более унылым и скептическим. Фрэнсис Фриленд подумала: «Он страшно устал. Надо, чтобы его напоили чаем и сварили ему яйцо. Но зачем он так далеко шел? Он не похож на нищего».

Старик, который не был похож на нищего, вдруг произнес:

– Я знаю в Джойфилдсе мистера Фриленда. Очень добрый джентльмен.

– Да. Странно, почему я не знаю вас?

– Я мало выхожу из-за ноги. Внучка моя тут у вас в услужении, вот я к ней и пришел.

– Ах, вот оно что! Как ее зовут?

– Гонт.

– Я тут никого не знаю по фамилии.

– Ее зовут Алисой.

– А-а, на кухне, – милая, хорошенькая девушка. Надеюсь, у вас не случилось какой-нибудь беды?

Снова старик сперва ничего не ответил, а потом вдруг прервал молчание:

– Да как на это посмотреть, сударыня... Мне надо с ней перемолвиться парочкой слов по семейному делу. Отец ее не смог прийти, вместо него пришел я.

– А как же вы доберетесь назад?

– Да, видно, придется пешком, разве что меня подвезут на какой-нибудь повозке.

Фрэнсис Фриленд строго поджала губы.

– С такой больной ногой надо было сесть на поезд.

Старик улыбнулся.

– Да разве у меня есть деньги на дорогу? – сказал он. – Я ведь получаю пособия всего пять шиллингов в неделю и два из них отдаю сыну.

Фрэнсис Фриленд снова сунула руку в тот же глубокий карман и тут заметила, что левый башмак у старика не зашнурован, а на куртке недостает двух пуговиц. В уме она быстро прикинула:

«До следующего получения денег из банка осталось почти два месяца. Я, конечно, не могу себе этого позволить, но я должна дать ему золотой».

Она вынула руку из кармана и пристально поглядела на нос старика. Нос был точеный и такой же бледно-желтый, как и все лицо.

«Нос приличный, не похож на нос пьяницы», – подумала она. В руке у нее были кошелек и шнурок. Она вынула золотой.

– Я вам его дам, если вы пообещаете не истратить его в трактире. А вот вам шнурок для башмака. Назад поезжайте поездом. И скажите, чтобы вам пришили пуговицы. А кухарке от меня, пожалуйста, передайте, чтобы она напоила вас чаем и сварила вам яйцо. – Заметив, что он взял золотой и шнурок очень почтительно и вообще выглядел человеком достойным, не грубияном и не пропойцей, она добавила: – До свидания. Не забудьте каждый вечер и каждое утро как следует втирать мазь, которую я вам дала.

Потом она вернулась к своему стулу, села, взяла в руки ножницы, но опять забыла вырезать из журнала рецепт и сидела, как прежде, замечая все до последней мелочи и думая не без внутреннего трепета о том, что дорогие ее Феликс, Алан и Недда скоро будут тут; на ее щеках снова проступил легкий румянец, ее губы и руки снова задвигались, выражая и в то же время стараясь скрыть то, что творится у нее на сердце. А оттуда, где некогда стоял дом Моретонов, за ее спиной появился павлин, резко закричал и медленно прошествовал, распутив хвост, под низкими ветками буков, словно понимая, что эти горящие темной бронзой листья прекрасно оттеняют его геральдическое великолепие.

Глава V

На следующий день после семейного совета у Джона Феликс получил следующее послание:

«Дорогой Феликс!

Когда ты поедешь навестить старину Тода, почему бы тебе не остановиться у нас в Бекете? Приезжай в любое время, и автомобиль доставит тебя в Джойфилдс, когда ты захочешь. Дай отдохнуть своему перу. Клара тоже надеется, что ты приедешь, и мама еще у нас. Полагаю, что Флору звать бесполезно.

Как всегда, любящий тебя

Стенли».

Все двадцать лет, которые брат его прожил в Бекете, Феликс посещал его не чаще раза в год и последнее время ездил туда один. Флора погостила там несколько раз вместе с ним, а потом наотрез отказалась.

– Дорогой мой, – заявила она, – там уж слишком заботятся о нашей брэнной плоти.

Фелюке пробовал с ней спорить:

– Изредка это не так уж плохо.

Но Флора стояла на своем. Жизнь так коротка! Она недолюбливала Клару. Да Феликс и сам не очень-то приятно чувствовал себя в обществе невестки; но инстинкт, вынуждавший его надевать серый цилиндр, заставлял его ездить в Бекет: надо же поддерживать отношения с братьями!

Он ответил Стенли:

«Дорогой Стенли!

С радостью приеду, если мне разрешат взять с собой мою молодежь.

Будем завтра без десяти пять.

Любящий тебя

Феликс».

Ездить с Неддой всегда было весело: наблюдаешь, как глаза ее замечают все вокруг, о чем-то спрашивают, а порой чувствуешь, как мизинец ее зацепился за твой и легонько его пожимает... Ездить с Аланом было удобно: этот молодой человек умел устраиваться в пути так хорошо, как отцу и не снилось. Дети никогда не бывали в Бекете, и хотя Алан почти никогда ничем не интересовался, а Недда так горячо интересовалась всем, что вряд ли на этот раз почувствует особое любопытство, тем не менее Феликс предвидел, что поездка с ними будет занимательной.

Приехав в Треншем – небольшой городок на холме, выросший вокруг Мортонского завода сельскохозяйственных машин, – они тут же сели в автомобиль Стенли и ринулись в сонную тишь вустерширского предвечернего часа. Интересно, повторит ли пичужка, пристроившаяся у его плеча, приговор Флоры: «Тут слишком заботятся о нашей брэнной плоти», – или же почувствует себя в этой сытой роскоши, как рыба в воде? Он спросил:

– Кстати, в субботу приезжают «шишки» вашей тетушки. Хотите поглядеть на кормление львов или нам лучше вовремя убраться восвояси?

Как он и ожидал, Алан ответил:

– Если у них есть где поиграть в гольф, то, пожалуй, можно потерпеть.

Недда спросила:

– А что это за «шишки», папочка?

- Таких ты, милочка, еще не видела.
- Тогда мне хочется остаться. Только как быть с платьями?
- А какая у тебя с собой амуниция?
- Всего два вечерних, белых. И мама дала мне свой шарф из брабантских кружев.
- Сойдет!

Феликсу Недда в белом вечернем платье казалась лучистой, как звезда, и самой привлекательной девушкой на свете.

- Только, папа, пожалуйста, расскажи мне о них заранее.
- Непременно, милочка. И да спасет тебя бог. Смотрите, вот начинается Бекет.

Автомобиль свернул на длинную подъездную аллею, обсаженную деревьями, еще молодыми, но настолько парадными, что они выглядели старше своих двадцати лет. Справа, на могучих вязах, суматошно кричали грачи: жены всех трех егерей только что испекли свои ежегодные пироги с начинкой из грачей, и птицы еще не успели от этого опомниться. Вязы росли здесь еще тогда, когда Моретоны шествовали мимо них по полям на воскресную обедню. Слева, над озером, показался обнесенный стеною холмик. При виде его у Феликса, как всегда, что-то шевельнулось в душе, и он сжал руку Недды.

– Видишь ту нелепую загородку? За ней когда-то жили бабушкины предки. Теперь уж ничего этого нет – и дом новый, и озеро новое, и деревья – все новое.

Но спокойный взгляд дочери сказал ему, что его чувство ей непонятно.

– Озеро мне нравится, – сказала она. – А вон и бабушка... Ах, какой павлин!

Каждый раз, когда Феликса с жаром обнимали слабенькие руки матери и к щеке прикасались ее сухие мягкие губы, в нем просыпались угрызения совести. Почему он не умеет выражать свои чувства так просто и искренне, как она? Он смотрел, как она прижимает эти губы к щеке Недды, слушал, как она говорит.

– Ах, милочка моя, как я счастлива тебя видеть! Ты знаешь, как это помогает от комариных укусов! – Рука нырнула в карман и достала оттуда обернутый в серебряную бумагу карандаш с синеватым острием. Феликс увидел, как карандаш взметнулся над лбом Недды и два раза быстро в него ткнулся. – Они тут же проходят!

– Бабушка, но это совсем не от комаров. Это натерла шляпа.

– Все равно, милочка, от него все проходит.

А Феликс подумал: «Нет, мама – изумительный человек!»

Автомобиль стоял возле дома – из него уже вынесли их вещи. Дождался их только один слуга, но зато, безусловно, дворецкий! Войдя, они сразу почувствовали особый запах цветочной смеси, которую употребляла Клара. Этот запах струился из синего фарфора, из каждого отверстия и уголка, словно природный запах роскоши. Да и от самой Клары, сидевшей в утренней гостиной, казалось, исходил тот же запах. Темноглазая, с быстрыми движениями, ловкая, еще миловидная, подтянутая, она превосходно умела приспособиться к вкусам своего времени и ни в чем от них не отставать. Вдобавок к этому бесценному свойству она обладала хорошим нюхом, инстинктивным светским тактом и искренней страстью делать жизнь для людей как можно более удобной; не удивительно, что слава ее как хозяйки салона росла, а ее дом ценили и те, кто любил во время субботнего отдыха чувствовать заботу о своей брэнной плоти. Даже Феликс, несмотря на иронический склад ума, не решался перечить Кларе и обличать порядки Бекета, – вопрос был чересчур деликатный. Одна только Фрэнсис Фриленд (и не потому, что у нее были какие-нибудь философские воззрения на этот счет, а потому, что «неприлично, дорогая, быть такой расточительной», если дело и касается всего лишь сухих розовых лепестков, или «чересчур украшать дом», например, вешать японские гравюры в тех местах, куда... гм...), одна она иногда делала замечания невестке, хотя это и не производило на ту ни малейшего впечатления, ибо Клара не была впечатлительной, и к тому же, как она говорила Стенли, это ведь «всего только мама».

Когда они выпили особого китайского чаю, который был последним криком моды, но никому, по правде говоря, не нравился, в интимной утренней, или малой, гостиной – парадные гостиные были слишком велики и недостаточно уютны, чтобы сидеть там в будни, – они пошли поздороваться с детьми, которые все представляли собой некую смесь Стенли и Клары (за исключением маленького Фрэнсиса – у него не так явно преобладала «бренная плоть»). Потом Клара проводила их в отведенные им комнаты. Она любезно задержалась в комнате у Недды, подозревая, что девочка еще не чувствует себя тут как дома, заглянула в мыльницу – положено ли туда хорошее мыло с запахом вербены, взглянула на туалетный стол – есть ли там шпильки, духи и достаточное количество цветочной смеси, и подумала: «Девочка прехорошенькая и милая – не то, что ее мать». Подробно объяснив, почему ее поместили ввиду субботнего съезда гостей в «такую скромную комнату», откуда ей придется перейти коридор, чтобы попасть в ванную, Клара спросила, есть ли у племянницы стеганный халат, и, услышав отрицательный ответ, вышла, пообещав прислать ей это необходимое одеяние; может ли она сама застегнуть платье, или прислать ей Сиррет?

Девушка осталась одна посреди комнаты – в такой «скромной» спальне она очутилась впервые. В ней стоял нежный аромат розовых лепестков и вербены, пол был устлан обуюсонским ковром, кровать покрыта стеганным одеялом из белого шелка, все это дополняли кушетка с множеством подушек, изящные занавески и никелированный ящичек для сухариков на столике с гнутыми ножками. Недда постояла, наморщив нос, вдохнула запах, потянулась и мысленно решила: «Очень мило, но только слишком сильно пахнет!» Потом она принялась рассматривать картины, одну за другой. Они отлично подходили к комнате, но Недде вдруг захотелось домой. Это просто смешно! Однако если бы она знала, где находится комната отца, она тут же побежала бы к нему; но все эти лестницы и коридоры перепутались в ее голове, даже дорогу назад, в прихожую, она нашла бы лишь с трудом.

Вошла горничная и принесла голубой шелковый халат, очень теплый и мягкий. Может она чем-нибудь помочь мисс Фриленд? Нет, спасибо, ничем, но не знает ли она, где комната мистера Фриленда?

– Какого мистера Фриленда, мисс: старого или молодого?

– Конечно, старого! – Сказав это, Недда огорчилась: отец ее совсем не стар.

– Не знаю, мисс, но сейчас спрощу. Наверно, в каштановом флигеле.

Испугавшись, что своим вопросом она заставит людей бегать по множеству флигелей, Недда пробормотала:

– Спасибо, не надо... Это не так важно...

Она уселась в кресло и стала глядеть в окно, стараясь рассмотреть все до дальней гряды холмов, окутанных синеватой дымкой теплого летнего вечера. Это, должно быть, Молверн, а там, еще дальше к югу, живут «Тоды». Джойфилдс – красивое название! Да и края здесь красивые – зеленые и безмятежные, с белыми домиками, которые так чудно оттеняются темными бревнами. Наверно, люди в этих белых домиках счастливы, им хорошо и покойно здесь, как звездам или птицам; не то, что в Лондоне, где толпы теснятся на улицах, в магазинах и на Хемпстед-Хит, не то, что вечно недовольным жителям предместий, которые тянутся на много миль, туда, где Лондону давно бы пора было кончиться; не то, что тысячам и тысячам бедняков в Бетнал-Грин, где она бывала с матерью, членом общества помощи обитателям трущоб. Да, местный люд, наверно, очень счастлив. Но есть ли тут он, этот местный люд? Она его что-то не видела. Справа под ее окном начинался фруктовый сад: для многих деревьев весна уже миновала, но яблони только зацвели, и низкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь ветви дальних вязов, косо легли на их розовую кипень, кропя ее, как подумалось Недде, каплями света. И как красиво звучало пение дроздов в этой тишине! До чего же хорошо быть птицей, летать, куда вздумается, и видеть с вышины все, что творится на свете; а потом скользнуть вниз по солнечному лучу, напиться росы, сесть на самую верхушку огромного дерева; пробе-

жаться по высокой траве так, чтобы тебя не было видно; снести ровненькое голубовато-зеленое яичко или жемчужно-серое в крапинку; всегда носить один наряд и все равно оставаться красивой! Ведь, право же, душа вселенной живет в птицах и в летучих облаках, и в цветах и деревьях, которые всегда ароматны, всегда прекрасны и всегда довольны своей судьбой. Почему же ее томит беспокойство, почему ей хочется того, что ей не дано, – чувствовать, знать, любить и быть любимой? И при этой мысли, которая так неожиданно к ней пришла и еще никогда так ясно не была ею осознана, Недда положила локти на оконную раму и подперла ладонями подбородок. Любовь! Это значит человек, с которым можно всем поделиться, кому и ради кого можно все отдать, кого она может оберегать и утешать, человек, который принесет ей душевный мир. Мир... отдых – от чего? Ах, этого она сама не понимала! Любовь! А какая же она будет, эта любовь? Вот ее любит отец и она любит его. Она любит мать, да и Алан, в общем, к ней хорошо относится, но все это не то. Но что же такое любовь и где она, когда придет, разбудит ее и убаюкает поцелуем? Приди, наполни мою жизнь теплом и светом, прохладой, солнцем и мглой этого прекрасного майского вечера, напои сердце до отказа пением этих птиц и мягким светом, согревающим цветы яблони! Недда вздохнула. И тут – внимание молодости всегда непостоянно, как мотылек, – взгляд ее привлекла худая фигура с высоко поднятыми плечами; она, хромя и опираясь на палку, удалялась от дома по тропинке среди яблонь. Затем человек этот неуверенно остановился, словно не зная дороги. Недда подумала: «Бедный старик! Как он хромяет!» Она увидела, как он сгорбился, думая, что его не видно за деревьями, и вынул из кармана что-то маленькое. Он долго рассматривал этот предмет, потер его о рукав и спрятал обратно. Что это было, Недда издалека не видела. Потом, опустив руку, он начал разминать и растирать лодыжку. Глаза его, казалось, были закрыты. Он постоял неподвижно, как каменный, а потом медленно захромал прочь, пока не скрылся из виду. Отойдя от окна, Недда стала поспешно переодеваться к обеду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.